

Пекарня в Чухломе

Хлеб
Люди
Добрые
Истории



Здесь живёт
волшебство



Милана Панова

Пекарня в Чухломе

«Автор»

2026

Панова М.

Пекарня в Чухломе / М. Панова — «Автор», 2026

Повар Варя двенадцать лет простояла у чужой плиты. А потом сняла фартук посреди смены и купила на «Авито» старую пекарню в Чухломе — за двести тысяч, почти не раздумывая. Пекарня разваливается, в ней живёт рыжий кот Батон, который иногда разговаривает, а запертый подвал по ночам пахнет хлебом, хотя хлеба там не пекли почти сто лет. Варя открывает подвал — и находит печь своего прапрадеда и живую закваску, которая умеет говорить. Хлеб на ней исполняет маленькие желания. Ржаной мирит поссорившихся. Сдобный приносит удачу в любви. Но слух о волшебной пекарне разлетается по стране, в маленький город едут толпы, а за ними — знаменитый кулинарный блогер с камерой. Ему очень нужен рецепт. Тёплая история про северный городок у озера, про хлеб, который пекут руками и сердцем, и про то, что дом можно найти, даже если его у тебя нет.

© Панова М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Ушла	5
Глава 2. Батон	8
Глава 3. Печь в подвале	11
Глава 4. Ржаной мирит	15
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Милана Панова

Пекарня в Чухломе

Глава 1. Ушла

Варя Лаптева ушла из ресторана «Ферментариум» во вторник, в девять сорок вечера, посреди полной посадки, не сняв фартука.

Потом, когда её спрашивали — а спрашивали много раз, — она так и не смогла объяснить, что именно стало последней каплей. Может, то, что шеф Ростислав Гордеев снова выдал её закваску на ржаном хлебе за свою. Перед камерой. Перед гастрономическим критиком из «Афиши». С улыбкой, ямочками на щеках и словами «я долго искал этот вкус, ездил по северным деревням». Он ни разу в жизни не был в северной деревне. Закваску Варя выводила полтора года. Дома. На подоконнике. В банке из-под огурцов.

А может, то, что после этого Ростислав зашёл на кухню, увидел, что она пересолила соус — да, пересолила, руки тряслись, — и при всей смене, при шестерых поварах, при посудомойке Зухре и при стажёре, который работал второй день, сказал: «Лаптева, ты двенадцать лет у плиты и до сих пор не умеешь солить. Может, тебе в столовую? Там пересол не заметят».

А может, просто — устала.

Двенадцать лет. С восемнадцати. Колледж, стажировки, ресторан за рестораном, кухня за кухней. Шестнадцатичасовые смены. Ожоги на руках — по два в неделю. Спина, которая к тридцати годам болела, как у шестидесятилетней. Квартира в Бибиреве, где она только спала, и то не всегда. Ни выходных, ни праздников, ни отпуска, ни личной жизни. Последний парень ушёл от неё три года назад со словами «ты замужем за плитой». Он был прав.

Она стояла посреди горячего цеха, держала в руке ложку с пересоленным соусом и смотрела на Ростислава. На его белоснежный китель с вышитым именем. На ямочки. На руки, которые никогда не месили тесто.

И вдруг поняла, что больше не может.

Не «не хочу». Не «устала». А именно — не может. Как не может машина ехать без бензина. Как не может хлеб подняться без закваски.

Она положила ложку. Аккуратно. На край плиты.

— Ростислав Игоревич, — сказала она. — Закваска — моя.

— Что? — Шеф обернулся уже у двери.

— Закваска на ржаном. Которую вы сегодня критику показывали. Она моя. Я её полтора года растила. Вы про неё ничего не знаете. Вы даже не знаете, чем её кормить.

На кухне стало тихо. Шесть поваров замерли. Зухра выключила воду. Стажёр уронил нож.

Ростислав посмотрел на неё. Ямочки исчезли.

— Лаптева, — сказал он ласково. — Ты, кажется, забыла, чья это кухня.

— Не забыла, — сказала Варя. — Ваша. Поэтому я ухожу.

И ушла. Через служебный вход. Мимо мусорных баков. В апрельский московский дождь. В фартуке. С банкой закваски под мышкой — она забрала её из холодильника на ходу, не думая, руки сами взяли.

Шла пешком до метро. Двадцать минут. Под дождём. Плакала. Банка с закваской тихо булькала у неё под мышкой — как будто утешала.

Дома, в Бибиреве, она сняла мокрый фартук, села на кухне на табуретку, поставила банку на стол — и долго смотрела на неё.

Закваска пузырилась. Живая. Кислая. Тёплая.

— И что мне теперь делать? — спросила Варя у банки.

Банка, разумеется, не ответила.

Варя открыла ноутбук. Сама не зная зачем. Хотела, наверное, посмотреть вакансии. Повар, су-шеф, шеф-повар. Москва. Зарплата от. График сменный. Опыт от пяти лет.

Вместо этого почему-то открыла «Авито».

Потом — вкладку «Коммерческая недвижимость».

Потом — «Готовый бизнес».

Потом — фильтр «Пекарни».

Она листала долго. Пекарни продавались везде. В Москве — за миллионы. В Подмосковье — за сотни тысяч, но с долгами по аренде. В Твери, в Ярославле, во Владимире. Красивые, некрасивые, с оборудованием и без.

И вдруг — фотография.

Старое кирпичное здание. Одноэтажное, длинное, с полукруглыми окнами, с проржавевшей вывеской, на которой ещё угадывались буквы: «ХЛ...Б». Покосившееся крыльцо. Лопухи у стены. На заднем плане — серая гладь воды и купола вдалеке, на другом берегу.

Подпись: «Продаётся здание пекарни. Чухлома, Костромская область. Центр, ул. Советская. 1912 г. постройки. Печь, оборудование частично. Требуется ремонт. Документы в порядке. Срочно, в связи с отъездом. 350 000 руб. Торг».

Триста пятьдесят тысяч.

Варя смотрела на цифру.

У неё на счету было четыреста двенадцать тысяч. Двенадцать лет копила. На что — сама не знала. На «когда-нибудь».

Чухлома.

Она знала это слово. Все знали. Так говорят про глушь. «Из какой-нибудь Чухломы». «Как в Чухломе». Бабушка — папина мама, баба Шура, — так говорила, когда Варя в детстве не хотела есть кашу: «Ешь, а то отправлю тебя в Чухлому, там тебя медведи накормят».

Варя смеялась. Ей было пять лет. Она думала, что Чухломы не бывает. Что это слово из сказки, как Тридевятое царство.

А она — вот. На «Авито». С фотографией. С куполами за озером.

И ещё бабушка говорила — Варя вдруг вспомнила это так ясно, будто услышала, — говорила, когда месила тесто на пироги: «Мы, Лаптевы, хлебные. Мой дед хлеб пёк. В Питере, у самого Филиппова. А потом домой вернулся и свою пекарню открыл». Варя тогда не спрашивала — куда домой. Ей было не интересно. Ей было семь. Знала она только, что фамилию свою баба Шура так и не поменяла, хоть и замуж выходила, и сыну её дала, а сын — Варя. «Лаптевы мы, — говорила бабушка. — Хлебные. Нечего фамилией разбрасываться».

Баба Шура умерла, когда Варя было девятнадцать. Варя была на стажировке во Франции. Не успела.

Она сидела на кухне в Бибиреве и смотрела на фотографию старой пекарни в Чухломе.

Закваска в банке на столе вдруг громко булькнула. Один раз. Как будто сказала: «Ну?»

Варя взяла телефон. Набрала номер из объявления.

Было одиннадцать ночи. Ей ответили после первого гудка. Женский голос, пожилой, хриловатый, с таким сильным северным «о», что Варя сначала не поняла ни слова.

— Пекарню? Продаю, продаю, милая. Племянник мой продаёт, а я тут присматриваю. Приезжай, смотри. Ключи у меня. Я напротив живу. Галина Фёдоровна. Тётя Галя.

— Я... я, наверное, приеду, — сказала Варя.

— Приезжай, — сказала тётя Галя. — Тут хорошо. Озеро. Тихо. — Помолчала. — Только пекарню, милая, никто брать не хочет. Третий год стоит. Все смотрят — и уезжают.

— Почему?

— Говорят, нехорошо там, — просто сказала тётя Галя. — В подвале что-то стучит. По ночам. И тестом пахнет. Хотя теста там сорок лет не было.

Варя помолчала.

— Тестом? — переспросила она.

— Тестом, — подтвердила тётя Галя. — Ржаным. Кислым таким. Как раньше пекли.

Варя посмотрела на банку с закваской.

— Я приеду, — сказала она. — Завтра.

Ехала она сутки.

Сначала — поездом до Костромы, ночным, в плацкарте, с банкой закваски, завёрнутой в свитер, в рюкзаке. Потом — от Костромы автобусом. Автобус был старый, жёлтый, тряский. Шёл через Буй, через Галич — Варя запомнила эти названия, они были как из былины. Потом — уже без асфальта, по лесу, по грунтовке. Дождь. Туман. Ели по обе стороны дороги — огромные, мокрые, бородатые от лишайника.

Пассажиров было пятеро. Две бабушки с сумками-тележками. Мужик в камуфляже, спавший всю дорогу. Девочка-школьница в наушниках. И Варя.

Бабушки разглядывали Варю всю дорогу. Внимательно. Не стесняясь. Как разглядывают в деревне нового человека.

— Ты к кому, дочка? — спросила наконец одна. Маленькая, в цветастом платке, с лицом, похожим на печёное яблоко.

— Ни к кому, — сказала Варя. — Пекарню смотреть.

Бабушки переглянулись.

— Лаптевскую? — спросила вторая.

Варя вздрогнула.

— Почему — лаптевскую?

— Так её все так зовут, — сказала первая бабушка. — Лаптевская пекарня. С царских времён. Её купец Лаптев ставил. Савва. Питерщик. — Она помолчала. — Хорошая была пекарня. Мать моя рассказывала — хлеб там был такой, что в очередь с ночи стояли. Из Солигалича приезжали. Из Галича. А потом... — Она махнула рукой. — Потом много чего было. Там и столовая была, и склад, и магазин хозтоваров. А теперь вот — ничего.

— А почему... почему Лаптевская? — повторила Варя. — Я... я тоже Лаптева.

В автобусе стало тихо. Даже мужик в камуфляже, кажется, перестал храпеть.

Бабушки смотрели на неё. Долго.

— Ну, — сказала наконец первая бабушка. — Ну, тогда понятно.

— Что понятно?

— Почему тебя туда потянуло, — сказала бабушка. И отвернулась к окну.

Автобус вынырнул из леса.

И Варя увидела озеро.

Большое. Серое. Гладкое, как стекло. Над ним — туман, клочьями, как вата. А на другом берегу, далеко, в тумане, — белые стены и купола. Монастырь. Тот самый, с фотографии.

А на этом берегу, на пологом холме, — городок. Маленький. Деревянный. С зелёными, синими, коричневыми домиками, с палисадниками, с кружевными наличниками. С колокольней. С одной улицей, которая спускалась к воде.

Чухлома.

Варя прижалась лбом к мокрому стеклу автобуса.

Было так тихо и так красиво, что ей вдруг захотелось плакать. Опять.

Глава 2. Батон

Тётя Галя оказалась маленькой, круглой, румяной женщиной лет семидесяти, в резиновых сапогах, в куртке поверх халата, с огромной связкой ключей на шнурке. Она встретила Варю на автобусной остановке — оказывается, бабушки из автобуса ей позвонили, пока ехали, — и сразу, не здороваясь, сказала:

— Худая. Бледная. Московская. — Помолчала. — Лаптева, говорят?

— Лаптева, — сказала Варя.

— Ну, пойдём, Лаптева, — сказала тётя Галя. — Покажу тебе твоё наследство.

— Это не наследство. Я покупать приехала.

— Покупать, — фыркнула тётя Галя. — Ну-ну.

Пекарня стояла на Советской, в самом центре, наискосок от старых торговых рядов. Варя узнала её сразу — по полукруглым окнам, по ржавой вывеске «ХЛ...Б». Но на фотографии не было видно, насколько всё плохо.

Здание было длинное, кирпичное, тёмно-красное, когда-то, наверное, красивое. С карнизом из фигурного кирпича. С чугунным козырьком над крыльцом. Но кирпич облупился. Карниз осыпался. Козырёк проржавел насквозь. Крыльцо покосилось так, что ступеньки шли под углом. Окна — половина заколочены фанерой, половина — с треснувшими стёклами. Крыша — шифер, местами провалившийся. У стены — лопухи в человеческий рост.

Варя стояла перед крыльцом и молчала.

— Ну? — спросила тётя Галя.

— Триста пятьдесят тысяч, — сказала Варя.

— Двести можно, — сказала тётя Галя. — Племянник сказал — кто возьмёт, тому хоть за двести. Лишь бы налог не платить.

Внутри было темно, сыро и холодно. Пахло пылью, мышами, старой штукатуркой. И — Варя втянула носом воздух и замерла — чем-то ещё. Очень слабо. Еле-еле. Как воспоминание. Хлебом.

Ржаным. Кислым. Тёплым.

— Чуешь? — тихо спросила тётя Галя.

— Чую, — сказала Варя.

— Все чуют, — сказала тётя Галя. — Сорок лет тут хлеба не пекли. А пахнет.

Зал был большой. С высоким потолком, с лепным карнизом — облупленным, но ещё различимым: колосья, снопы, серпы. С остатками прилавка — деревянного, массивного, тёмного. С облезлой кафельной плиткой на стенах — белой, с синим узором по краю. Старинной. Варя такую видела только в музеях.

А в дальнем углу, у двери в подсобку, на прилавке, — лежало что-то большое, рыжее и круглое.

Варя сначала подумала — мешок. Или подушка. Или чья-то брошенная шапка.

Потом «мешок» поднял голову.

Это был кот. Огромный. Рыжий. Толстый — не просто толстый, а такой круглый, что казалось, у него нет шеи, нет талии, нет ничего, кроме одной большой рыжей округлости с ушами и хвостом. Шерсть — длинная, пушистая, цвета хорошо пропечённой корки. На боках — светлые полосы, как надрезы на батоне. Глаза — янтарные, сонные, полуприкрытые.

Кот посмотрел на Варю. Медленно. Сверху вниз. Как смотрят на нового повара на кухне — оценивающе.

Потом зевнул. Широко. С розовым языком.

И снова положил голову на лапы.

— Это Батон, — сказала тётя Галя. — Местный. Ничей. Тут живёт. Лет... — Она задумалась. — Да сколько я себя помню, столько и живёт.

— Сколько вы себя помните?

— Семьдесят один год, — сказала тётя Галя. — И он всегда был. Такой же. Рыжий. Круглый. — Она пожала плечами. — Ну, может, это не один и тот же. Может, сын. Или внук. Коты-то столько не живут. Но похож. Как две капли.

Варя подошла к прилавку. Посмотрела на кота поближе.

— Привет, Батон, — сказала она.

Кот приоткрыл один янтарный глаз. Посмотрел на неё. Закрыв.

— Он не любит, когда шумят, — объяснила тётя Галя. — И когда чужие. Но ничего. Привыкнет. Ты, говорят, Лаптева. Он Лаптевых должен понимать.

— Почему?

— Потому что пекарня — лаптевская, — сказала тётя Галя, как будто это всё объясняло.

Варя купила пекарню через три дня.

За двести тысяч. Племянник тёти Гали — Виталик, тридцатилетний, в спортивном костюме, жил в Костроме — приехал на «Ладе», подписал договор у нотариуса в соседнем кабинете поселковой администрации, получил перевод на карту и уехал через час. Даже не стал смотреть, как Варя заходит внутрь.

— Не люблю я туда ходить, — сказал он, садясь в машину. — С детства. Там в подвале стучит. Тётя Галя говорит — домовый. А я думаю — крысы. Здоровые.

— А вы в подвал спускались? — спросила Варя.

— Не, — сказал Виталик. — Он заперт. Там замок. Старый. Ключа нет. Дед говорил — и не было никогда. — Он завёл мотор. — Удачи вам. Вы смелая.

И уехал.

Варя осталась одна. С ключами от пекарни. С рюкзаком. С банкой закваски. С двумястами двенадцатью тысячами на карте. Посреди Чухломы.

Первую ночь она ночевала у тёти Гали — та не пустила её в пекарню. «Там холодно, сыро, крысы, кот, и не прибрано. Простудишься. Завтра пойдёшь». Дом у тёти Гали был деревянный, тёплый, с печкой, с половиками, с геранью на окнах и с фотографиями на стенах — множеством фотографий, чёрно-белых и цветных, — и тётя Галя до двух ночи рассказывала про каждую.

А утром Варя пошла в пекарню. С ведром, тряпками, веником, перчатками, мусорными мешками — всё одолжила у тёти Гали — и начала.

Это было похоже на работу на кухне в первый день после ремонта. Только хуже. В десять раз.

Она выносила мусор. Мешками. Десятками мешков. Старые коробки. Сломанные стулья. Битые бутылки. Ржавые вёдра. Обрывки плакатов «Миру — мир!» и «Хозтовары — в каждый дом!». Мышиные гнёзда. Пыль — килограммами.

Она отмывала кафель. Белый, с синим узором. Под слоем грязи он оказался целым — почти весь. Только в одном углу три плитки выпали. Варя нашла их в мусоре. Отмыла. Отложила.

Она отмывала прилавок. Тёмное дерево — дуб, наверное, — под слоем пыли и краски оказалось резным. По краю — колосья. Виноградные лозы. Маленькие птички.

Она отдирала фанеру с окон. Окна оказались с полукруглыми рамами, с мелкой расстекловкой. Свет хлынул в зал — серый, озёрный, северный.

Батон всё это время лежал на прилавке. В углу. Не вставал. Не мешал. Только иногда открывал один глаз и смотрел, что она делает.

К вечеру Варя села на пол посреди зала. Мокрая, грязная, в паутине, со сломанным ногтем. Зал был... не чистый. Но уже не помойка. Уже — зал. Уже можно было представить, как тут стоят люди. Как пахнет хлебом. Как на прилавке лежат караваи.

Батон открыл оба глаза. Посмотрел на неё.

— Ну? — сказала Варя коту. — Как тебе?

Кот медленно, неторопливо поднялся. Потянулся — сначала передними лапами, потом задними, хрустнув всеми суставами, как старый матрас. Спрыгнул с прилавка. Тяжело. С глухим «бум», от которого задрожал пол. Подошёл к Варе. Сел перед ней.

Посмотрел. Долго. Янтарными глазами.

И сказал:

— Сносно.

Варя замерла.

— Что? — прошептала она.

— Сносно, — повторил кот. Голос у него был низкий, мягкий, бархатный, с ленцой, как у человека, который только что хорошо пообедал и не собирается никуда торопиться. — Для первого дня. Кафель хорошо отмыла. Прилавков — хорошо. Окна — молодец. — Он помолчал. — Угол за дверью пропустила. Там мышинное гнездо. Завтра.

Варя смотрела на кота.

Кот смотрел на Варю.

— Ты разговариваешь, — сказала она.

— Иногда, — согласился кот. — Когда есть что сказать. Это редко.

— Коты не разговаривают.

— Обычные — нет, — сказал Батон. — Я не обычный. Я — пекарный. — Он подумал. — Ну, или, если хочешь, хлебный. При пекарне живу. Сто пятнадцать лет. — Он зевнул. — Это много. Даже для пекарного кота.

Варя сидела на грязном полу посреди пустого зала старой пекарни в Чухломе и смотрела на говорящего кота.

Двенадцать лет она работала на кухнях. Видела всякое. Видела, как шеф швырнул в повара сковородку. Видела, как су-шеф уснул стоя, держа в руке нож. Видела крысу размером с таксу в подсобке ресторана на Патриарших. Видела, как гастрономический критик плакал над тарелкой борща.

Говорящего кота она не видела ни разу.

— Я сошла с ума, — сказала она. — От усталости. Двенадцать лет без отпуска. Это нервный срыв. Я читала.

— Может быть, — согласился Батон. — Тогда тем более тебе надо поесть. Ты сегодня ничего не ела. Я видел. Только чай из термоса. Два раза.

— Я не хочу есть.

— Повар, который не ест, — сказал Батон, — это как печь, которую не топят. Остывает. Трескается. — Он поднялся. — Пойдём. Тётя Галя щи сварила. Я чую отсюда. С белыми грибами. — Он пошёл к двери, неторопливо переваливаясь, как маленький рыжий медведь. У двери обернулся. — И мне горбушку возьми. Я горбушки люблю. Ржаные. С корочкой.

— А если я завтра проснусь — и ты не будешь разговаривать?

Батон посмотрел на неё через плечо.

— Значит, мне будет нечего сказать, — сказал он. — Тоже бывает.

Глава 3. Печь в подвале

Подвал Варя открыла на четвёртый день.

Дверь была в подсобке, за залом. Низкая, тяжёлая, дубовая, обитая железными полосами. С огромным висячим замком — чёрным, ржавым, размером с Варину голову. Замок был старый. Очень старый. На нём ещё можно было различить выбитое клеймо: двуглавый орёл и буквы «С.Л. 1912».

Ключа, как и говорил Виталик, не было.

Варя трогала замок. Дёргала. Пробовала все ключи из тёти-Галиной связки — их было сорок три, и ни один не подошёл. Пробовала шпилькой, как в кино. Шпилька сломалась.

— Не откроется, — сказал Батон с прилавка. Он теперь всегда лежал на прилавке, в углу, и разговаривал. Редко. Но по делу. — Его не ключом открывают.

— А чем?

— Не знаю, — сказал кот. — Я его сто пятнадцать лет не видел открытым. С тридцать первого года.

— А что было в тридцать первом году?

Батон помолчал.

— Плохое, — сказал он. — Потом расскажу. Не сейчас.

Варя стояла перед дверью. Из-под неё — из узкой щели у пола — тянуло холодом. И запахом. Тем самым. Ржаным. Кислым. Тёплым. Здесь, у двери, он был сильнее, чем в зале. Гораздо сильнее. Как будто там, внизу, прямо сейчас, кто-то пёк хлеб.

И ещё — Варя прислушалась — звук. Очень тихий. Ровный. Как дыхание. Как будто кто-то большой и сонный дышал там, внизу. Медленно. Глубоко.

«Пых. Пых. Пых».

Как опара, когда поднимается.

Варя приложила ухо к двери.

«Пых. Пых».

— Там кто-то есть, — прошептала она.

— Есть, — сказал Батон.

— Кто?

— Сама увидишь. Если откроешь.

Она открыла вечером. Случайно.

Весь день она мыла подсобку. Отскребала со стен краску, которой их покрыли в советское время, когда тут был склад, — грязно-зелёную, масляную, слоями. Под ней обнаружился кафель — такой же, как в зале, белый, с синим узором. И ещё — надпись. Прямо на стене, у двери в подвал. Выложенная кафелем — тёмно-синими плитками по белому. Старинными буквами, с ятями и твёрдыми знаками.

«ХЛѢБЪ ВСЕМУ ГОЛОВА.

А ХЛѢБУ — РУКИ ДА СЕРДЦЕ».

Варя стояла перед надписью и читала. Медленно. Губы шевелились.

А потом — она сама не знала почему — сделала то, что делала каждый день, двенадцать лет, на каждой кухне, перед каждым тестом. Вымыла руки. Вытерла насухо. Положила обе ладони на дверь. На тёмное дубовое дерево, обитое железом.

И сказала — тихо, как говорила всегда, когда замешивала закваску, — то, что говорила ей баба Шура. Когда Варе было пять, и она стояла на табуретке у бабушкиной квашни, и бабушка учила её месить:

— Расти, хлебушко. Расти, родимый. Мы тебя ждём.

Замок щёлкнул.

Громко. Сухо. Как выстрел.

Дужка вышла из петли. Замок повис — открытый — и, повисев секунду, с грохотом упал на пол. На Варину ногу. Она взвизгнула.

Дверь медленно, сама, со скрипом, отворилась.

Из подвала хлынул запах. Хлебный. Такой густой, такой тёплый, такой живой, что у Вари закружилась голова. Ржаной. Кислый. С тмином. С солодом. С чем-то ещё — медовым, сладким, детским.

И свет.

Тусклый. Оранжевый. Как от углей.

Батон прыгнул с прилавка и встал рядом с ней. Шерсть у него стояла дыбом — но не от страха. От чего-то другого.

— Иди, — сказал он тихо. — Тебя ждут. Сто пятнадцать лет — нет, девяносто шесть. С тридцать первого. Ждут.

Варя спустилась.

Лестница была каменная. Двенадцать ступенек. Стёртых, вогнутых посередине — по ним много ходили. Очень много. Очень давно.

Подвал был большой — почти во весь зал наверху. Сводчатый. Кирпичный. Сухой — удивительно сухой для подвала у озера. И тёплый. Как летом.

Вдоль стен — полки. Деревянные, тёмные. На полках — формы для хлеба. Чугунные, медные, жестяные. Десятки. Круглые, прямоугольные, в виде рыбы, в виде солнца. Деревянные лопаты. Деревянные дежи — огромные кадки для теста, — штук пять, разных размеров. Мешки — старые, пустые, из грубой мешковины. Весы — с гирями, медные, позеленевшие.

А в дальнем конце подвала — печь.

Варя видела много печей. Промышленные, конвекционные, пароконвектоматы, итальянские для пиццы, французские для багетов. Дровяную печь в ресторане на Остоженке — гордость шефа, за четыре миллиона.

Такой печи она не видела никогда.

Огромная. Во всю стену. Кирпичная — красный кирпич, потемневший от времени и огня. С широким, низким, полукруглым зевом. С чугунной заслонкой — тяжёлой, с выпуклым узором: колосья, снопы, и в середине — буквы. «С. ЛАПТЕВЪ. ЧУХЛОМА. 1912».

Варя протянула руку. Погладила заслонку. Она была тёплая. Как будто печь топили вчера.

Оранжевый свет шёл из-за заслонки. Сквозь щели. Мерцал. Дышал.

«Пых. Пых. Пых».

Звук шёл оттуда. Изнутри печи.

И ещё — откуда-то справа. Из угла, где стояла самая большая дежа. Деревянная, тёмная, в железных обручах, высотой Варя по пояс. Накрытая сверху холстом.

Холст шевелился.

Медленно. Мерно. Вверх-вниз. Как будто под ним кто-то дышал.

Варя медленно, очень медленно подошла к деже. Протянула руку. Взялась за край холста. — Не тяни резко, — сказал Батон сзади. — Она не любит.

Варя потянула медленно.

Холст соскользнул.

Внутри дежи было тесто.

Тёмное. Ржаное. Пышное, как облако. Высокое, до самого края. Живое — оно дышало, пузырилось, поднималось и опадало. «Пых. Пых». И пахло так, что Варя чуть не заплакала. Так пахло у бабы Шуры на кухне. Так пахло в детстве. Так пахло — она вдруг поняла — всегда, когда ей было хорошо.

А потом тесто открыло глаза.

Два глаза. Маленьких, тёмных, блестящих, как изюм. Прямо посередине пышной ржаной поверхности.

Под глазами появился рот. Широкий, мягкий, тестяной.

Рот зевнул.

— Ох, — сказала тесто. Голос был грудной, певучий, тёплый, с северным «о», как у тёти Гали, только мягче. Как у бабушки, которая только что проснулась. — Ох-ох-ох. Это кто ж меня будит?

Варя стояла с холстом в руках и не могла пошевелиться.

Тесто поднялось над краем дежи. Выше. Ещё выше. Вытянулось. Округлилось. Приняло форму — Варя смотрела, не дыша, — сначала головы, потом плеч, потом пышной, круглой, мягкой фигуры. Старушки. Маленькой, круглолицей, румяной — корочкой, — с глазами-изюминками, с носом-картошкой, с волосами из муки, собранными в пучок. В переднике из холста.

Она сидела в деже, как в кресле. По пояс. И смотрела на Варю.

Долго. Внимательно. Прищурившись.

— Лаптева, — сказала наконец старушка из теста. — Лаптевская кровь. Чую. Носом чую. — Она принюхалась. — И руками. Ты руки помыла?

— П-помыла, — сказала Варя.

— Молодец, — сказала старушка. — А замок чем открыла? Словом?

— Я сказала... я сказала «расти, хлебушко»...

— «Расти, хлебушко, расти, родимый, мы тебя ждём», — певуче проговорила старушка.

— Саввины слова. Он так каждое утро говорил. Кто тебя научил?

— Бабушка. Баба Шура.

— Шура, — повторила старушка. И глаза-изюминки у неё вдруг стали влажными. — Шурочка. Агрипинина внучка. Маленькая была. Беленькая. Я её помню. Она у Агрипины на руках сидела, когда их отсюда увозили. В тридцать первом. — Старушка помолчала. — Жива?

— Умерла, — тихо сказала Варя. — Одиннадцать лет назад.

Старушка из теста закрыла глаза. Помолчала.

— А ты, значит, её внучка, — сказала она. — Саввина праправнучка. — Открыла глаза. — Ну, здравствуй, дочка. Я Опара. Опара Саввишна. Хлебный дух этой пекарни. — Она чуть склонила тестяную голову. — Я — Саввина закваска. Он меня в Питере вывел, у Филиппова. В девятьсот восьмом году. Привёз сюда в кувшине. Посадил в эту дежу. И с тех пор я тут.

— Сто... сто двадцать лет, — пробормотала Варя.

— Сто девятнадцать, — поправила Опара Саввишна. — Девяносто шесть из них — одна. Без хозяина. Без хлеба. Без рук. — Она вздохнула, и от вздоха по подвалу прошла волна тёплого, кислого, ржаного запаха. — Батон меня кормил. Таскал муку откуда-то. Горстями. По щепотке. Чтoб не померла. — Она посмотрела на кота. — Спасибо, рыжий.

— Не за что, — сказал Батон. Отвернулся. Уши у него покраснели. Варя не знала, что у котов могут краснеть уши.

— А теперь — ты пришла, — сказала Опара Саввишна. Посмотрела на Варю. — Хлеб печь будешь?

Варя смотрела на неё. На старушку из теста, сидящую в деже. На огромную печь с надписью «С. Лаптевь». На полки с формами. На кота.

Двенадцать лет на кухнях.

Ростислав с ямочками. «Может, тебе в столовую?»

Её закваска, выданная за чужую.

Банка из-под огурцов на подоконнике в Бибиреве.

— Буду, — сказала Варя.

— Тогда слушай, — сказала Опара Саввишна. И подняла тестяной палец. — Правила. Савва их на стене выложил, ты видела. «Хлеб всему голова, а хлебу — руки да сердце». Это

главное. Остальное — так, мелочи. — Она загибала пальцы — пышные, мягкие, как пончики. — Первое. Хлеб из этой печи — только руками. Никаких машин. Никаких миксеров. Руками месишь, руками формуешь. Второе. Только на моей закваске. Ни дрожжей, ни порошков. Третье. Пока месишь — думай. О том, кто есть будет. Хорошо думай. Плохо подумаешь — хлеб не поднимется. Четвёртое. Печь топить — берёзой. Только берёзой. Осину она не любит, от ёлки кашляет. Пятое... — Она помолчала. — Пятое — самое важное.

— Какое?

— Хлеб из этой печи, — сказала Опара Саввишна, — исполняет. Маленькое. Не большое — маленькое. Ржаной — мирит. Кто поссорился, съест по куску — и помиряются. Сдобный — на любовь удачу даёт. Кто одинокий, съест булочку — и в тот же день кого-нибудь встретит. Пшеничный — силы даёт. Больным, усталым, старым. Калач — на дорогу. Кто уезжает — чтоб доехал и вернулся. — Она помолчала. — Это не я делаю. И не печь. Это — то, что ты в тесто вложишь. Руками да сердцем. Печь только помогает. А я только держу.

Варя смотрела на неё.

— А шестое правило есть? — спросила она.

Опара Саввишна посмотрела на неё долгим взглядом.

— Есть, — сказала она. — Хлеб этот — для людей. Для своих. Для тех, кто пришёл. — Пауза. — Не на продажу в другие края. Не в магазины. Не на вывоз. Савва однажды попробовал — в Питер отправить, обоз. Хлеб до Питера доехал — а желаний в нём не было. Простой хлеб. Хороший — но простой. — Она покачала головой. — Хлеб — он место любит. Где пекли — там и исполняет.

— Понятно, — сказала Варя.

— Ничего тебе пока не понятно, — сказала Опара Саввишна. Но мягко. — Поймёшь. — Она опустилась обратно в дежу. Наполовину. По плечи. — А теперь — иди наверх. Спи. Завтра — печь топить. Берёзу купи. У Пахомыча, рыбака, — у него лучшая. Сухая. Три года лежала.

— А вы?

— А я подышу, — сказала Опара Саввишна. — Девяносто шесть лет одна дышала. Теперь — вдвоём будем. — Она закрыла глаза-изюминки. — Холст накинь. Не люблю сквозняк.

Варя накинула холст. Медленно. Аккуратно.

Холст поднимался и опускался. Мерно. «Пых. Пых».

Батон стоял у лестницы. Ждал.

— Ну? — спросил он, когда Варя подошла.

— Я сошла с ума, — сказала Варя. — Окончательно.

— Хорошо, — сказал Батон. — Значит, завтра — берёза. Пахомыч в шесть утра на озеро уходит. Надо успеть до шести.

И пошёл наверх. Неторопливо. Переваливаясь. Как маленький рыжий медведь.

Варя постояла ещё секунду. Посмотрела на печь. На заслонку с надписью «С. Лаптев. Чухлома. 1912». На дежу под холстом, который мерно поднимался и опускался.

Потом поднялась по стёртым ступенькам. И закрыла за собой дверь. Без замка.

Замок так и остался лежать на полу в подсобке. Ему больше нечего было запирасть.

Глава 4. Ржаной мирит

Пахомыча Варя нашла в пять сорок утра на берегу озера, у старых мостков, где он сидел на перевёрнутой лодке и курил.

Было холодно. Над озером висел туман — белый, плотный, как молоко. Монастыря на другом берегу не было видно совсем. Только где-то там, в белом, звонил колокол. Тихо. Глухо. Как из-под воды.

Пахомыч был стар, сух, высок и молчалив. В брезентовом плаще, в резиновых сапогах до пояса, в шапке-ушанке с одним опущенным ухом. С бородой, седой и жёсткой, как проволока. Он посмотрел на Варю. На кота, который шёл рядом с ней. Снова на Варю.

— Лаптева, — сказал он. Не вопросительно.

— Лаптева, — согласилась Варя. Весь город, кажется, уже знал.

— Берёзу надо, — сказал Пахомыч. Тоже не вопросительно.

— Надо. Сухую. Говорят, у вас лучшая.

— Говорят, — сказал Пахомыч. Затянулся. Выпустил дым в туман. — Кто говорит?

Варя замаялась. Сказать «хлебный дух из дежи» было как-то неловко.

— Батон, — сказала она. И показала на кота.

Пахомыч посмотрел на Батона. Батон посмотрел на Пахомыча.

— А, — сказал Пахомыч. — Ну, раз Батон. — Помолчал. — Пять кубов есть. Три года лежит. Под навесом. Сухая, как порох. Тебе для печи?

— Для печи.

— Для Саввиной? — Пахомыч прищурился.

Варя кивнула.

Старый рыбак долго молчал. Курил. Смотрел в туман.

— Мать моя, — сказал он наконец, — в той пекарне хлеб покупала. Девчонкой. До тридцать первого. Рассказывала: зайдёшь — и как будто домой пришла. Даже если дома и нет. — Он затушил папиросу о борт лодки. — Привезу. На тележке. Сегодня. Денег не надо.

— Как не надо? Я заплачу...

— Хлебом отдашь, — сказал Пахомыч. — Каждую субботу. Каравай ржаного. Ну, пока жив.

И встал. И пошёл к лодке. И столкнул её в воду. И уплыл в туман — без единого лишнего слова.

Варя стояла на мостках.

— Он всегда такой? — спросила она кота.

— Всегда, — сказал Батон. — За шестьдесят лет сказал при мне слов двести. Сегодня — сорок. Это много. Ты ему понравилась.

Берёзу Пахомыч привёз в обед. На тележке с велосипедными колёсами. Три ходки. Сложил в подсобке, у двери в подвал. Ровно, полено к полону. Ни слова не сказал. Ушёл.

Вечером Варя растопила печь.

Это было страшно. Она двенадцать лет работала с огнём — газ, электричество, индукция, угли в дровяной печи в ресторане на Остоженке. Но эта печь была другая. Живая. Варя чувствовала это ладонями, когда закладывала берёзовые поленья в огромный тёмный зев. Чувствовала, как печь смотрит. Ждёт. Оценивает.

— Не бойся, — сказала Опара Саввишна из дежи. — Она добрая. Только отвыкла. Девяносто шесть лет не топили. Ей холодно. Ты ей сначала маленько — щепочек. Бересты. Пусть разогреется. Потом — полешки. Потом — побольше.

Варя подожгла бересту. Береста вспыхнула — ярко, весело, с треском, с запахом дёгтя. Щепки занялись. Потом поленья.

И печь вздохнула.

Варя слышала это. Глубокий, гулкий, долгий вздох, который прошёл по всему подвалу, по всем кирпичам, по сводам. Как будто кто-то очень большой, очень старый, очень замёрзший — наконец согрелся.

Огонь в печи загудел. Ровно. Мощно. Радостно.

— Ох, — сказала Опара Саввишна. И глаза-изюминки у неё заблестели. — Ох, Савва. Ох, слышишь. Топят.

Батон сидел у печи. Смотрел в огонь. Шерсть у него медленно распушалась от тепла, и он становился ещё круглее, ещё рыжее, ещё больше похожим на хорошо пропечённый батон.

Первый хлеб Варя пекла всю ночь.

Опара Саввишна учила её. Не так, как учили в колледже. И не так, как во французской пекарне в Лионе, где она стажировалась в девятнадцать лет и где старый мэтр Жерар бил её по рукам деревянной ложкой за каждую ошибку. По-другому.

— Ты не меси, — говорила Опара. — Ты разговаривай. Тесто — оно живое. Ты его руками гладишь, а оно тебя слушает. Ты ему говоришь — кому оно будет. Оно и растёт — для того человека.

— А если я не знаю, кому?

— А ты придумай, — сказала Опара. — Ты ж повар. Ты знаешь, кто хлеб ест. Все едят.

Варя месила. В деже. Руками. Тёмное ржаное тесто на Саввиной закваске — на самой Опаре, она отщипнула от себя кусочек, сказала «бери, не жалко, я вырасту», — с колодезной водой (колодец был во дворе пекарни, и вода в нём была ледяная и сладкая), с солью, с тмином, с солодом, который Варя нашла у тёти Гали в кладовке, старый, но хороший.

Она месила и думала.

Про Пахомыча. Который сказал сорок слов. Который каждую субботу хотел каравай. Про его мать, которая девчонкой покупала тут хлеб и чувствовала, что пришла домой.

Про тётю Галю. Которая семьдесят один год прожила напротив пекарни и сорок лет нюхала хлеб, которого не было.

Про бабушек в автобусе. Про Виталика с его «Ладой». Про всех людей в этом маленьком городке на берегу озера, которых она ещё не знала, но которые будут есть этот хлеб.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.